

Именной портсигар / рассказ

Category: Hekayalar, Kitapcy

написано kitapcy | 24 января, 2025

Именной портсигар / рассказ ИМЕННОЙ ПОРТСИГАР

Как должно ему поступить? — при настоящем положении дел.

С учетом теперешних обстоятельств, — а учесть возможно было далеко не все, о многом приходилось догадываться, — подобным образом поставленный вопрос являлся непозволительным самообманом. Государственный канцлер прекрасно знал, что следовало бы предпринять, но какой толк в подобном знании, раз уж нельзя отдать подходящий приказ; да и будучи отданным — выполнять его никто не станет.

За последний год государственный канцлер, — разумеется, специально этим не занимаясь, — лучше сообразил, каково приходилось гримаснику Boneu (с давних пор он запомнил британское прозвище Наполеона). Но ведь фатальный просчет Бонапарта состоял в том, что совокупный людской материал, на который ему поневоле пришлось положиться, по своей ущербной природе оказался не на высоте. В его случае ситуация была непоправимой, просто отчаянный вояка слишком поздно это заметил. Но государственный канцлер не скатывался до каких-либо уподоблений. В нашем случае выход наверняка существовал, а ему оставалось только почуять, что же сейчас позволительно предпринять для успешного выхода из неблагоприятных обстоятельств на фронте и, особенно, в области политической.

Нынешняя осень началась тяжело. В последних числах августа, после бесконечных совещаний и обсуждений, исполненных притворства, недомолвок, прикровенного злорадства и даже вспышек взаимных ревнивых обид, — а уж этим последним всегда отличались штабные снобы в генеральских чинах, — ему пришлось подтвердить, будто бы, — будто бы?! — единственно возможное решение. Отступить на донецком участке. Так ему пояснили. Собственно, его поставили перед необходимостью согласиться и признать все прочее — самоубийством. Он давно уже не верил ни

единому их слову, твердо знал, что ему лгут, — лгали, лгут, и лгать будут, но именно поэтому ничего иного не оставалось. Иначе они докажут свою правоту на практике, и погубят все дело в ближайшие месяцы, не дав ему собраться с силами. А заменить их — некем. Они не позволят найти себе замену. Поэтому следовало сохранять вид вполне убежденного их доводами, озабоченного, но не теряющего необходимой бодрости, вечного романтика-идеалиста, любимца черни, и только этим еще полезного, лучше сказать — неизбежного, но лишь до той поры, покуда благоразумные люди не изыщут пути выхода из тупика-ловушки, в которую он умудрился их всех заманить.

Тогда же он безвозвратно покинул винницкую, точнее — стрижавскую Ставку. Такую милую сперва, где каждый уголок, — деревья, — особенно те изящные, с идеально сферическими, ярко-красными, но, — как заранее предупредили, — несъедобными для европейцев ягодами, — летнее птичье пение, мгновенно переводимое им на родной язык деревенского, в сущности, детства, — нектарный, цветочный привкус воздуха, — с первых же минут редких прогулок угашали столь присущие государственному канцлеру тайные уныние и тревогу, позволяя свободно сосредоточиться, а значит — прийти к верным выводам. Он ловил себя на том, что был бы не прочь написать здешний пейзаж акварелью, а для начала — сделать хотя бы несколько набросков... Впрочем, он ведь уже осознал, что творческая его энергия — не безгранична: чем самозабвенней он погружался в занятия искусством, тем труднее ему давалось ощущение хода истории, ослабевало политическое чутье, и поэтому выбор его был предопределен. Он усмирил в себе художника, а взамен стал неистовым собирателем живописи.

...И тотчас государственный канцлер увидел, как он, восьмидесяти-восьмидесятипятилетний, но еще достаточно крепкий, слегка припадая на раненную левую ногу, чуть опираясь на складную трость-стул, с этюдником, спускается по Принцрегент до самого Энглишенгартен; далековато, но ему нипочем. Он садится у озерца, разнимает треногу этюдника; особого желания работать на пленэре у него нет; он, скорее, отправился отдохнуть, посмотреть на всю эту молодежь; радуют

здоровенные парни; хороши стройные, но при этом в меру округлые, со сливочной кожей, ноги девушек. На него – не обращают внимания, его, разумеется, не узнают – и это прекрасно; он давно отошел от дел, слишком изменился внешне; возможно, его бы смогли опознать деда и прадеды этих счастливцев и счастливиц, но их осталось так мало, не говоря уж о товарищах по оружию.

Впрочем, вернее всего – его так или иначе скоро убьют.

К тому же, государственный канцлер был вполне городским человеком, и природу любил скорее умозрительно, по убеждениям; но вечерами вид окрестностей Стрижавки отчасти напоминал тот, что так трогал его на любимой картине Фридриха «Двое, глядящие на луну».

За обедами его баловали необыкновенно вкусным овощным рагу и ароматной грибной похлебкой. Он поддерживал легкие застольные беседы, вспоминал, сколь отрадное и незабываемое впечатление произвели на него когда-то слова великого Хьюстона Чемберлена, – подумать только, в Мюнхене они жили совсем рядом! – слова Чемберлена о младшем брате германских арийцев – славяноарийцах...

– ... их прямыми потомками несомненно является коренное население Малороссии-Украины, – подхватывали иные собеседники. – На них-то мы теперь здесь и опираемся...

Прочие – кто помалкивал, кто поддакивал; а уже в июле ему было доложено, что некоторые влиятельные славяноарийские персоны затеяли переговоры с московскими иудеобольшевиками. Предлагая Кремлю соглашение: они, славяноарийцы, ударят с тылу по германским позициям на Восточной Украине; в обмен – ожидают гарантий поддержки создания независимого соборного украинского государства в границах 1939-40 годов, с желательной прирезкой Курской области и Кубани; т.е. солидной части предусмотренной в будущем Казакии.

Украинскими проделками достаточно долго занимались, поэтому ошибки быть не могло. Во время доклада он удержался и не вспылil, зато позволил себе высказать толику правды:

– Я могу понять бесстыдную наглость и неблагодарность этих славян, ведь у них перед глазами такие красноречивые примеры...

Разумеется, его почтительно и осторожно спросили, что он изволит подразумевать.

— Насколько мне известно, чуть ли не с прошлого года кое-кто и у нас ведет похожую игру: пытается как-нибудь договориться с англичанами, а вот теперь и с американцами о прекращении военных действий на западном направлении. Не говоря уж о прочем...

Все молчали. Помолчал и он. А затем добавил, чтобы их доконать:

— В обмен. Тоже на гарантии. В частности, гарантии поддержки создания с нашей помощью русской освободительной, — он беззвучно усмехнулся, — ос-во-бо-дительной армии, которая только и будет в состоянии разбить сталинские орды и создать демократическую российскую республику под англо-американским протекторатом. — Государственный канцлер плавно развел руками и, после короткой паузы, со внезапностью, громко приложился ладонями к дубовой столешнице. — А потом нас, когда мы окончательно ослабеем, добьют англо-американцы. Так будем же справедливы. Чем хуже эти украинские славяне? — и они хотят свою, быть может, не менее демократическую республику. Под тем же протекторатом.

Он не питал иллюзий, будто подобный разговор в состоянии что-либо коренным образом изменить. Но с той самой поры винницкая Ставка ему омерзела, что он, как водится, предпочел скрыть.

Кстати, Герман, чья Ставка располагалась неподалеку, очень хвалил винницкий городской театр: не пропускал ни одной премьеры, пожертвовал балетной труппе массу костюмов и десятки пар наилучшей балетной обуви. Но государственный канцлер от посещения здешних театральных представлений уклонился.

Лето прошло; а его продолжали всячески донимать, осторожно настаивать на пользе, — даже на стратегической необходимости, — формирования армии из русских военнопленных; утверждали, что для этого все готово; недостает лишь приказа. Обработывали буквально каждого, чье слово могло быть им услышано, принято к сведению, хотя бы до некоторой степени учтено.

Государственный канцлер не был предубежден, а тем более — не испытывал личной неприязни в отношении русских; скорее,

напротив. Ведь русским был особо почитаемый им замечательный пейзажист, с которым они вместе учились у профессора Ашбе; живописца звали Николаем ...? – фамилию позабыл; русским был и кавалерийский генерал Бискупский, что приютил его в Мюнхене, когда за ним охотились красные. – При этом государственного канцлера утомляли особенная русская надменность в сочетании с дурашливым легкомыслием; он с трудом выносил русские песни, – и немало натерпелся, постоянно слушая их у Бискупского: покойная жена кавалериста была, оказывается, знаменитой петербургской певицей, умершей от заболевания крови; граммофон в квартире вдовца не умолкал: чего стоило только это протяжное «о–о–о...»; слов он, конечно, не понимал, но ему рассказали, что поется о снежной метели, заносящей Россию; еще бы! Но если уж на то пошло, ему больше претили французы: своей всегдашней нечистоплотностью, дурными запахами, что в сочетании с их прославленной парфюмерией было поистине гадко. Предположительно, эта брезгливость образовалась в нем по причинам интимным: вследствие ранней фронтовой связи с деревенской грязнулей – красоткой Шарлотт; о, как она влекла его к себе! – отчаянно, по-собачьи...

Во всяком случае, государственный канцлер издавна сторонился французской кухни, втайне поражаясь болезненному излому культуры всего континента, не исключая и германской нации: повсеместно, чуть ли не двести лет, французское меню – признавалось образцом, а лучше сказать, идеалом. С детства государственный канцлер терпеть не мог даже само звучание французского языка, отчего тот ему долго не давался. Со временем, – как и во всем другом, – он взял себя в руки – и овладел французским с необходимой полнотой. Равно и английским, приняв за правило еженедельно прочитывать по одной французской и одной английской книге. Он действительно был заядлым книгочеем, и однажды, несколько лет тому назад, с упреком поймал себя на нелепейшем ощущении ревности: оно полыхнуло, когда ему доложили, как невероятно много читает Иосиф Сталин.

Он знал за собою эту смешную слабость, – эту излишнюю сохранность чувств, призванных быть мимолетными, эфемерными,

чрезмерную память сердца на пустяки. Едва ли государственный канцлер отчасти не поддался ему и сегодня, когда строго запретил создание каких-либо отдельных грузинских добровольческих батальонов, особо внося в резолюцию замечание, что и сам Сталин – по происхождению грузин; объективности ради, он воспротивился формированию любых исключительно кавказских добровольческих единиц. Собранные вместе, кавказцы могли оказаться вредны из-за природных особенностей своего поведения, склонностью к междоусобицам. При этом он, конечно, не отрицал, что представители тамошних народов хорошо зарекомендовали себя не только в армии, но и на довольно значимых должностях в СС, где, как докладывали, преуспел некий молодой грузинский князь, да еще и, кажется, родственник русских царей. Напротив того, добровольцы из числа азиатских магометан, туркмены, как по старинке называл их всех государственный канцлер, по отдельности ничего ценного из себя не представляя, отличались в деле именно в составе своих, организованных по этно-религиозному признаку, воинских частей. Магометанские подразделения он разрешил. Не возразил и против эстляндского легиона.

Впрочем, он же знал, что ему лгут.

Собственно – скрывают, не докладывают. Кавказские (балкарские, кабардинские, текинские, осетинские, разумеется, грузинские и тому подобные) части кое-где уже сформированы, а занимаются они по большей части тем, что помаленьку режут друг дружку. А непосредственно в германские подразделения, – с ведома и согласия командующих фронтами! – внедряют, как было ему конфиденциально доложено, русских пленных. На общих основаниях! – довольствие, обмундирование, экипировка. Сколько этих внедренных – государственный канцлер не знал, но, конечно, речь шла о сотнях и сотнях; может статься – о многих тысячах? Но и сама скандальная эта история, в свою очередь, могла быть сознательным обманом, призванным посорить его с армией. Ведь не идиоты же его старшие военачальники!? не агенты англосаксов!? Или они просто не в состоянии видеть дальше своих собственных генеральских, фельдмаршальских носов!?

Государственному канцлеру, несмотря на его юношескую порывистость и творческий склад натуры, была свойственны непоколебимая целеустремленность и своего рода деловитость во всем, за что бы он не брался; недаром он проявил себя по-настоящему отважным и дисциплинированным солдатом в годы той несчастной европейской войны, которая едва не уничтожила Германию, – Германию преданную и проданную, низведенную на самое дно позора... Пускай высшая справедливость все же восторжествовала; только это вовсе не значило, будто бы и дальше все пойдет как по маслу.

Но чтобы так?!

При этом он нисколько не утратил уверенности: череда военных неудач будет остановлена, преодолена, а общий ход дел повернется к лучшему, войдет в колею, из которой его выбросило роковое стечение обстоятельств, еще не вполне им осмысленных. Для этого-то государственному канцлеру и необходимо было сосредоточиться на самом главном, не позволять, чтобы его сбивали с толку.

А его постоянно отвлекали.

Еще летом, до последнего отбытия из винницкой Ставки, государственного канцлера жестоко огорчила беседа с др-ом Кляйстом. Превосходным, ловким дипломатом, до той поры ему симпатичным, хоть он и не мог не замечать, что д-р Кляйст, при всех своих качествах, чересчур самоуверен и принадлежит к тем, кто привык всех других считать глупцами и невеждами.

Кляйста пришлось принять в два часа пополудни.

А государственный канцлер был сверх всякой меры раздражен и встревожен еще с полудня. Из просмотренных им, – чуть ли не случайно, – документов следовало, что двигатели всех моделей армейских мотоциклеток работали на карданном валу. Это стало залогом и мощности, и скорости разом. Зато поломка вала, что в дорожных условиях на Востоке оказывалось явлением повседневным, в случае невозможности замены – превращала машину в металлический лом. Тогда как мотоциклетку несравненно худшую, но оборудованную цепным приводом на заднее колесо, погубить было гораздо сложнее. Да, цепь часто соскакивала, но ее без труда всякий раз возвращали на место. Эта сугубо

техническая, пускай и весьма неприятная история, почему-то подействовала на государственного канцлера поистине ужасно. На мгновение ему застлало глаза – сверкающим и черным; он почти ослеп, как в октябре 1918-го. А затем все его существо охватила тоскливая безнадежная слабость. Ляпсус, не предусмотренный ни конструкторами, ни дотошными армейскими заказчиками, – а его, правду сказать, и нельзя было предусмотреть заранее, – обернулся неким зловещим намеком, вроде пресловутой фосфоресцирующей надписи на стене: «мене, текел...», – притом что надпись появилась, когда хоть читай ее, хоть не читай, – пользы никакой, слишком поздно.

Когда государственный канцлер отчасти пришел в себя, – к нему в кабинет пригласили д-ра Кляйста.

Сперва они довольно долго обсуждали впечатления, вынесенные дипломатом из кое-каких любопытных встреч в Швейцарии: англичан и американцев наверное можно будет заинтересовать предложениями о выходе из войны с Германией (государственный канцлер избегал оборота «сепаратный мир»). Вопрос, по мнению Кляйста, заключался лишь в том, чтобы найти в тамошних правительствах точку приложения сил, определить – кто именно во влиятельных, прикосновенных ко власти кругах, готов обсудить возможность практических шагов. До них-то и надобно донести нашу позицию...

– Вы, конечно, уже нашли хоть парочку таких, кто такую позицию донесет? – подмигнул дипломату государственный канцлер.

Кляйст был подчиненным Риббентропа, и поэтому все, что им здесь говорилось (лгалось), несомненно получило предварительное одобрение министра иностранных дел. Государственный канцлер даже не знал: а действительно ли Кляйст посещал Швейцарию и зондировал англосаксов!? – возможно, он вел переговоры с уполномоченными Сталина в Стокгольме. Или в Софии. Впрочем, это ничего не меняло, тем паче, что Риббентропу государственный канцлер – не доверял.

– Это было трудновато, но кое-кто показался мне подходящим, – с некоторой принужденностью отозвался дипломат.

Кляйст был блестяще образованным специалистом; причесан аккуратно и гладко; ему еще не исполнилось и сорока;

худощавое прусское лицо с высоким лбом; крупные очки в оправе цвета гречневой патоки. Но его низковато посаженные уши, мелкий подбородок, скептическая пожимка губ, – и все его повадки демонстративно-порядочного человека возмущали государственного канцлера своим несоответствием с его готовностью так лгать. И кому?! В такие дни!

– Значит, кое-кто подходящий нашелся?

– Думаю, да.

– Здорово. Тогда остается всего одна загвоздка. Наша позиция. Вы, я уверен, о ней уже толковали с ... этим? Подходящим? В общих чертах, а?

– Только в самых что ни на есть общих. Я не считал возможным терять времени: они должны знать о нашей заинтересованности.

– Похвальная быстрота. Значит, вам уже известна наша позиция по столь деликатному вопросу? И наша заинтересованность. Не могли бы вы и меня осведомить, в чем же она состоит? И в чем же мы заинтересованы? Может быть, вас не затруднит сообщить мне об этих предметах? – даже немного подробней, чем все это излагалось вашему... подходящему. Чтобы и я был в курсе наших усилий, получил бы таким образом возможность поддерживать беседу с более осведомленными людьми.

Государственный канцлер поднялся с кресел. Он хотел подойти поближе к изолгавшемуся дипломатическому чиновнику, самая должность которого была свидетельством того доверия, которое он питал к нему еще часом прежде – и спросить, глядя в глаза: не стыдно?

Но и без того было внятно, что д-р Кляйст нисколько не стыдится. И считает, что государственный канцлер одержим болезненным упрямством, перестал отличать, – если вообще когда-нибудь отличал, – фантазии от реальности.

– Реальность такова, – мягко, словно опытный психиатр, произнес лгун, – что нам приходится выбирать между катастрофой и возможностью частичной победы. Я не вправе скрывать от вас того, что мне представляется единственно верным.

– Я запрещаю вам ведение каких бы то ни было переговоров. До тех пор, покамест не изменится положение на фронтах, любые переговоры ничего нам не дадут, разве вы сами не понимаете,

Кляйст? — это выглядит как жалкая попытка добиться более выгодных условий капитуляции.

Государственный канцлер не боялся войны, — в том смысле, как, например, опытного сталевара не страшит раскаленный металл, а умелого электромонтера не пугает высокое напряжение. Но и не только. Общеизвестно: высшие политические руководители в огромном большинстве случаев пребывают вне осознания того, что война может быть смертельно опасна им непосредственно, телесно; что этот сизый от перегрева, свернутый винтом, в перекошенных зубцах, осколок, может добраться до них самих, вспороть и выворотить брюхо, напроць оторвать срамной уд, отсечь нижнюю челюсть, ноги, руки. Убить. Сам образ их повседневной жизни, строжайшие правила охраны, всегдашние чистота и сытость — не допускают их до применения к самим себе подобной возможности, — и это к лучшему. Ведь иначе они не смогли бы работать в условиях войны, как страдающий боязнью высоты зачастую не может хотя бы протереть стекла, стоя на подоконнике. Не то государственный канцлер. Он именно не боялся войны ни плотски, ни душевно, — и это его качество не было приобретенным результатом навыка, ни даже склонностью к яростному, самозабвенному бешенству, которое отличает природного воина. Он, видно, родился таким, и ему, в некотором смысле, приходилось легче. Но государственный канцлер был всецело погружен в дела стратегические, притом силы на свое служение, — так ему мнилось, — он черпал только изнутри, — и оттого столь нелегко было ему помогать, или хотя бы не мешать. А он, в свою очередь, едва догадывался, что же творится с другими, не мог и вообразить, что ими движет: постоянно сравнивал этих других с собой, — и сравнение, как всегда бывает, оказывалось далеко не в их пользу.

Что же до Кляйста — дипломат, совершенно очевидно, трусил. Все его жалкое, избалованное существо поддалось панике; которая охватила далеко не его одного. Эта доведенная до животного состояния компания вонючек распространяла свою заразу повсюду. И боязнь их началась, конечно, не сегодня. Одни настойчиво убеждали его, что война с иудеобольшеви́стской властью в России, приведет Германию к гибели. Другие,

напротив, с не меньшей настойчивостью поясняли, что наилучший способ умиротворить англосаксов и САСШ – это именно скорейшая война против русских. Увы, может показаться, что он доверился этим последним, хотя руководствовался совсем иными мотивами.

Зато теперь все они вместе в истерике мельтешат по миру, надеясь поладить и со Сталиным, и с Черчиллем, и с американцами; а при этом делают вид, что спасают Германию от катастрофы. Но спасти из всех сил они стараются только себя, для чего и назойливо вертятся на виду грядущих победителей: видите, видите, вот он я, я, я! Не забудьте о моих заслугах!

Кляйста все же надо постараться переубедить; успокоить – и тем самым обезвредить.

Государственный канцлер сделал то, что намеревался пятнадцатью минутами прежде: вышел из-за круглого стола, почти вплотную приблизился к жалкому лгуну, возможно крепче охватил его запястья – и воскликнул:

– Поверьте, мы победим! Поверьте мне, Кляйст!

– О, да! Конечно!

Нет. Он слишком изолгался, чтобы его вернуть. А не подбодрит ли его какой-нибудь памятный подарок? Скажем, вечная ручка с золотым пером, или нож для бумаги. Но ничего подходящего в запасе нет, и к тому же на подобные награды следует нанести персональную дарственную надпись. Тогда это станет своего рода поощрением.

– ...Залогом нашей победы на Востоке, – не умолкал д-р Кляйст, – явится скорейшее формирование крупной антибольшевистской вооруженной силы. Для нее, как вам прежде доложено, нашли подходящее название: «Русская Освободительная Армия»...

– Да-да, – поощрил лгуна государственный канцлер.

Его как будто хотят загипнотизировать, повторяя одни и те же слова.

– ...Суть в том, что восточный поход должен быть нами превращен в гражданскую войну на территории России, – настаивал Кляйст.

– Вместе с тем, введение в бой по-настоящему больших масс русских военнопленных, позволит нам несколько ослабить страшное бремя войны, которое несет немецкий народ. Только так мы можем добиться перелома на Восточном фронте, а значит, –

вынудить англосаксов задуматься всерьез. Сегодня на нашей стороне готовы сражаться сотни тысяч русских солдат: пленных, добровольцев...

— Я помню, как мне убедительно доказывали за год-полтора до начала кампании: стоит нам дойти до Днепра — и миллионы русских мужиков сметут с лица земли московскую власть иудеев-кровососов. Простите, что перебил вас, Кляйст. Вы только что сказали: «вооруженные силы». Сотни тысяч солдат.

— Если мы этого пожелаем — будут миллионы.

— Еще лучше. А откуда же возьмется оружие для этой оравы?

— Поскольку у нас освободятся рабочие руки...

— Кляйст, эти ваши миллионы дезертиров надо сначала подготовить: поставить на довольствие, обмундировать, подучить, потом посадить на танки, на бронетранспортеры, на грузовики, — о мотоциклетах государственный канцлер велел себе забыть навсегда, — придать им артиллерию... Вот потому я и спросил вас насчет оружия. Откуда оно возьмется?

— В докладной записке, которая уже подготовлена, детально разбирается этот аспект...

— Я уже пролистывал дюжину таких записок. У нас нет возможности с необходимой скоростью даже возмещать потери, которые понесла и продолжает нести немецкая армия. А вы хотите, чтобы мы вооружили этих ваших русских освободителей. Кляйст, вы — не военный человек, а знаток в иной, крайне важной сегодня области. Я буду рад услышать от вас что-нибудь по вашей части.

Тогда д-р Кляйст объявил, что следует создать на оккупированной территории антибольшевистское русское правительство, с которым Германия заключила бы мир и признала союзным. Новообразованная РОА и станет союзной армией. «Этот мир лишит русский народ любого основания продолжать войну против немецкого народа, ложно изображаемую как Отечественную», — привел он удачную, как ему представлялось, мысль из какой-то еще неведомой государственному канцлеру докладной записки. Таким образом будет положено начало восстановлению условно самостоятельного, но целиком и полностью прогерманского российского государства в приемлемых

границах. И тогда наше доминирование – обретает незыблемые гарантии.

За последние месяцы государственный канцлер слышал все это не единожды; имел достаточное представление о том, что ему пытаются всучить; всячески объяснял, что интриганы – не преуспеют. Но они решили попробовать еще разок.

– Давайте взглянем на карту. Покажите-ка мне эти границы.

Пришлось подойти к письменному столу. Д-р Кляйст указал на условную линию движением пальца – и присовокупил, что после прискорбного происшествия с украинцами-славяноарийцами, южным территориям достаточно будет статуса автономии.

Дипломат оказался человеком не только трусливым, но и недалёковидным.

– Вам не кажется, что это – бесчестно? – спросил его государственный канцлер.

– В каком смысле?

– Есть хитрость военная. Есть уловка политическая. А есть бесчестный обман, который история не прощает. Всего через одно-единственное столетие германский народ будет насчитывать не менее ста двадцати миллионов человек. Разве не очевидно, сколь необходимо нам жизненное пространство?! А вы мне предлагаете по каким-то тактическим соображениям обмануть надежды немцев. И заодно обмануть русских, которым я должен посулить независимое и единое государство. Да разве мы можем себе это позволить?! Мы с таким трудом, с такими жертвами стараемся разрушить сталинский, иудеобольшевистский конгломерат! А вы взамен советуете поддержать создание русской национальной державы, которая в итоге может оказаться даже более устойчивой системой, нежели сегодняшняя сталинская!

На прощание д-р Кляйст не утерпел – и предложил государственному канцлеру повидать генерала Власова, выслушать его непосредственно, дабы «принять окончательное решение, обладая всей полнотой информации».

– Власов – никто, – не оборачиваясь к уходящему, чуть слышно произнес государственный канцлер.

.....
– А вы, товарищ генерал, с Гитлером-то виделись? – об этом

уважительно и негромко, хотя и с некоторым лукавством спросил его доброволец: белявый, худой, но, вроде, уже немного подкормленный, в немецкой военной шапчонке горбом.

— Со всеми, с кем надо виделись и будем видеться, — во весь полный генеральский голос ответил Власов и двинулся дальше.

В тот момент правильно было бы снять со своей генеральской руки хорошие серебряные часы — и подарить их бойкому солдату. Но свои собственные наградные, которые он берег с давнишних пор, были им, — в благодарность за постой, — отданы подлому деду, — тому, кто выдал его немцам; а других подходящих тогда не нашлось. Только в прошлом году Власов распорядился завести особый набор — часы и портсигары, все, конечно, серебряное, с гравировкой «За геройскую службу в РОА».

Перед отъездом он велел адъютанту непременно захватить в автомобиль специальный чемоданчик, где эти вещицы хранились в сафьяновых коробках; Власов намеревался их раздарить, не откладывая, как только представится возможность добраться до настоящего, безопасного района дислокации.

Один портсигар был именной, и подготовлен заранее: этот предназначался капитану Сереже Сретенскому, заместителю начальника охраны. Капитана Сретенского Власов оценил еще в Далеме, под Берлином, осенью сорок третьего, когда генерала поместили на своего рода почетную гауптвахту со всеми удобствами, даже с допуском баб.

Настоящих неприятностей, с арестом и перестрелкой, Власов в действительности не ожидал: немцы спорили не с ним, а между собой, — он видел их насквозь, молчал да прислушивался. Тем не менее, охрану он старался держать наготове. Почти каждый вечер, часам к десяти-одиннадцати, он спускался к дежурным со своего второго этажа; выпивал, но умеренно — и переходил к разговору о том, что же им предстоит, когда, наконец-то, дойдет до масштабных операций. Теоретически пропагандистские основы были уже давно разработаны под руководством «Карлыча» — Штрик-Штрикфельда; он изобрел и само словцо — «РОА». Эх, Карлыч. Все ты нам штрикал свое... И наштрикал.

В охране служили молодые ребята, и Власов, во-первых, старался в них воспитать личную преданность, а во-вторых,

проверял – насколько все то, что придумано для него пропагандистами, может быть усвоено рядовым и младшим командным составом. Охранной роте больше всего нравилось «за землю, за волю, за окончательное завершение великой революции 1917 года», создание временного русского военного правительства и независимость от немцев. А вот походная песня, где «отступают небосклоны, книзу клонится трава, то-се, идут добровольцы из РОА» особенно не зажигала.

В этих разговорах капитан Сретенский всегда первым ставил интересные и удачные вопросы.

Только все оказалось впустую: после того, как Власову наконец разрешили формироваться, самих немцев хватило всего на несколько месяцев: намного меньше, чем рассчитывал Власов; и ехать сейчас в Пильзен к американскому командарму, – говорили, будто в штабе его прозвали «бандюгой» и «старым потрохом», – было глупо. А куда ехать, если теперь при любом раскладе – не уцелеть? – Только Власов отчего-то все же надеялся, что он еще пригодится, раз уж до сих пор его не прибрали. Как недели две тому назад прибрали главного массовика-затейника, берлинского чарли-чаплина с усиками «бабочкой», – который не нашел подходящего случая с ним, Власовым, повидаться; пользы от этой встречи все равно бы не было никакой: от «Карлыча» Власов узнал, что на самом деле чарли-чаплин толком ничего не решает; как, например, в Москве – Калинин.

Генерал уж очень много пил и совсем мало спал, начиная с середины апреля, когда пришлось распрощаться с «Карлычем» – Штрика, надо думать, отозвали не то англичане, не то американцы, на которых он всегда работал. Власову, впрочем, было обещано, что сталинцам его не выдадут ни под каким видом. Ему объяснили, что настоящая битва за освобождение России начинается только теперь, и главное для генерала в эти сложные, переходные дни – не поддаваться на уговоры бежать куда глаза глядят; мол, война кончилась, никто никого искать и ловить не станет, положитесь на собственную смекалку. Вот в этом случае его жизнь действительно окажется под угрозой: генерала схватят либо советские агенты, внедренные в его близкое окружение, либо уничтожат те, кто сочтет генерала

нежелательным свидетелем.

В совершенно черную, безлунную и беззвучную (уже давно не было слышно даже одиночной пальбы) ночь с пятницы на субботу 12 мая он и вовсе не спал ни минуты. Если б не сопровождающий его машины американский конвой, он не замедлил бы распорядиться: привал! – вздремнуть; ненадолго вздремнуть на теплой травке, предварительно закусив.

Но проехали они всего километров шесть или семь.

Автомобиль охраны, в котором, рядом с шофером, сидел генеральский адъютант, а на заднем диване – капитан Сергей Сретенский, рывком затормозил. Не обращая внимания на крики адъютанта, капитан отпахнул дверцу со стороны шофера, выскочил – и увидел, что автомобиль Власова стоит на обочине, а подле него началась возня. Заместитель командира охраны бросился было вперед, но чуть ли не наперерез ему, задним ходом, накатился джип американского сопровождения. Из него Сретенскому всеми зубами улыбались непонятных званий военные в касках – и веселыми жестами подавали сигнал: разворачивайся! В свою очередь к нему тянулся адъютант:

– Серега! Быстро в машину!! Охуел ты, что ли?! Хочешь к советчикам угодить?

Сретенский нехотя вернулся на сидение, и не успел он захлопнуть дверцу, как шофер каким-то головокружительным цирковым манером вырулил на противоположную линию, с места помчался прочь, но тотчас же соскочил с дороги – и двинулся по какой-то тропке, забирая между кустами в сторону леса.

– А вот теперь стоим, – сказал адъютант.

Он вытащил из-под сиденья генеральский чемоданчик с часами и портсигарами, отпер – и с размаху выплеснул его содержимое в сторону ближайшего куста. Часть коробочек упала, как есть, а часть, что была полегче, раскрылась в полете, и несколько пар часов повисло на ветвях. Капитан Сретенский подобрал два-три портсигара.

– Выбрось, дурень! – вскричал адъютант.

Сретенский помедлил. В одном из коробков обнаружился портсигар с его именем и званием на внутренней поверхности крышки. На внешней поверхности были выдавлены стилизованные цветы лотоса

на длинных стеблях.

– Брось! – Адъютант чуть было не выхватил награду из рук награжденного.

– Не суетись, – увернулся капитан: он был спокойнее и ловчее.
– Поехали.

В машине Сретенский, незаметно для адъютанта и шофера, располовинил свой портсигар, отделив крышку с надписью; упрятал ее в карман. А когда адъютант в очередной раз потребовал «Брось!», – с готовностью вышвырнул из окна все равно бесполезный ему, некурящему, остаток памятной генеральской награды; крышка–то осталась при нем.

Об авторе: ЮРИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ

Родился в Харькове, живет в США. Окончил Харьковский Государственный Университет, Мичиганский Энн-Арбор. Член American PEN Center. Почетный член Айовского Университета (США) по разряду изящной словесности.

Автор художественных книг «Укрепленные города», «Приглашенная», «Скажите, девушки, подружке вашей» и др. Опубликовал книги-исследования о чудотворном мироточивом образе Божией Матери Иверской-Монреальской («Знамение последних времен») и о православной ветви рыцарского ордена иоаннитов-госпитальеров («Странноприимцы»). Книги рассказов были опубликованы во французском и английском (с предисловием И.А.Бродского) переводах. Neкаýalar